

Ирина ЕГОРОВА

Москва

РАССКАЗЫ

Ленивый воздух
Одессы

Смешно, но и я была когда-то маленькой девочкой.

И с каждым днем мне все легче удавалось взбираться на стул, а сиденье, которое было сначала на уровне носа, становилось все ниже и ниже — по грудь, по пояс... а однажды я тянулась, тянулась, встала на цыпочки и положила подбородок на стол.

Тогда все вокруг было очень большое — большущая комната с двумя огромными окнами и высооченным зеркалом между ними; моя кроватка у стены; подушка, такая мягкая и любимая, на которой можно было уместиться целиком, если хорошо свернуться калачиком; и сладко засыпать под стук бабушкиной швейной машинки.

А утром бабушка, одевая меня в ясли, много раз повторяла: "Скажи — р-р-рыба, р-р-рыба... р-р-рак, р-р-рак... р-р-рыба...". И вдруг мой язык, который только что неловко подворачивался и закручивался, звонко-звонко завибрировал: "Р-р-рыба, р-р-рыба, р-р-рак, р-рак!..".

И первая влюбленность, годика в три или меньше, в черноглазого хулиганистого Сережку Еременко: "Мама, он меня бьет, но я его все равно люблю!".

Чтобы добраться до детского сада, нужно было выйти из нашего длинного коммунального коридора на первом этаже через большущие двери в гигантское, как мне тогда казалось, фойе парадного подъезда. Потом преодолеть два пролета широкой мраморной лестницы — до второго этажа, протиснуться в тяжелые двери детского сада и переодеться возле своего шкафчика. Почему-то не было дня, чтобы я проделала этот немудреный путь без опоздания. По всей вероятности, опаздывать — это была наша фамильная черта, и досталась она мне с молоком матери.

В садике мне было уютно и вольготно, меня там любили. Бывало, воспитательница ставила меня перед всей группой и говорила: "Рассказывай!". А я, помнится, сочиняла что-то прямо на ходу, то ли сказки, то ли рассказы — не вспомню уже, что именно, только я стояла и рассказывала, а все слушали.

А потом, когда я была уже не очень маленькой девочкой, случился один момент, который пронзил меня насквозь солнечным светом, как стрелкою булавкой, и пригвоздил на веки вечные прямо к Богу в петлицу.

Было лето, я стояла перед зеркалом, которое умещало меня всю целиком. Из окна лупило солнце и, отражаясь в зеркале, затапливало мне лицо, волосы, глаза. И вдруг я *поняла*, что — *родилась и живу*. Прочувствовала эту ликующую радость всем существом — насквозь, навывлет, — что у меня есть я, со смуглой кожей и струящимися золотыми волосами, что во мне пульсируют, затаившись, немеренные силы и возможности. А ведь всего этого могло и не быть! (У меня были все шансы вовсе не родиться.) И осторожная, как тайный сговор, благодарность потекла золотой нитью к Тому, Кто одарил меня всем этим.

Теперь, когда мне бывает больно или пусто, тоскливо или бессмысленно, я заглядываю в это мгновение, как в бездонный колодец, сквозь который видны золотые прииски моей судьбы. И тогда алчным золотоискателем я начинаю понимать, как много из обещанного все еще не сделано, как много упущено и как много еще нужно, нужно сделать, во что бы то ни стало.

И больше всего я задолжала этому трепещущему золотою рыбкой ощущению бытия, которое обзано оставаться во всем, что я делаю, к чему прикасаюсь.

В Одессе удивительный воздух, ленивый и чувственный, и в то же время пропитанный живительными импульсами, как первобытный, доисторический бульон, в котором зародилась жизнь.

Начиная с весны, затапливающей весь город пьянящим ду-

хом акаций, и до поздней осени, устеленной желто-красными листьями, Одесса не устает потчевать своих обитателей потоками солнца различного накала, букетами вкусов, цветов, запахов, солеными объятиями моря и ветра, звуками прибоя и шумом Привоза, горячими улыбками и перченными шутками, рассыпанными нехотя и где попало.

И только серой слякотной зимой Одесса засыпает, становясь отстраненной и безучастной; таится где-то в глубине своих снов.

Весна в тот год совпала с первой "взрослой" любовью, с ощущением, что я — девушка, с распирающе-томящей болью растущей груди и поющим, как струна, телом, дружинистко изгибающимся во время ходьбы. А взгляды чутко воспринимались всей кожей и были почти равносильны прикосновениям. Влажный от весенних дождей ветер проглаживал лицо и шею, запускал свои пальцы в гущу волос, от чего они кудрявились пыльным ореолом и волнисто развевались сзади, вдогонку моим стремительным шагам.

Ветер в меня влюбился —
Сладкий, щекочущий, пьянкий —
Впивается в ноздри, в губы —
Начало моей изнанки.

Сжимает виски в ладони,
Затылок сжимает в локти,
И тычется лбом холодным
В мой лоб в сигаретной коפותи...

Слова брались неизвестно откуда, вертелись назойливо, как насекомые, копошась и мешая до тех пор, пока не найдут своего законного места в строке. Я шла к папе своим любимым маршрутом: Пушкинская, Приморский бульвар, Дюк, Воронцовский дворец, Тещин мост, еще один бульвар и — папина мастерская. Здесь, среди могучих платанов на Пушкинской, вспоминались разговоры таких взрослых курящих поэтов и пантомимчиков, испещренные шутками и намеками, ленивыми движениями и острыми переживаниями. И обволакивающее присутствие Его, любимого, физически ощущаемое его приближение и удаление, обоюдно нацеленное внимание, внезапные разряды касаний или всполохи взглядов.

К нашему двадцатилетнему руководителю студии пантомимы стекались приятели его же возраста, очень зрелые и мыслящие, как казалось тогда мне, четырнадцатилетней. А я (самая маленькая в студии, по прозвищу Малая) почему-то частенько присутствовала на их бурных обсуждениях проблем мирового масштаба, иногда сопровождавшихся стихами, песнями, танцами и сухим вином. И страшно вдруг становилось от крамольной мысли — проговорить им что-нибудь из моих сложившихся где-то в мыслях (и даже не записанных тогда!) строчек:

У меня душа — страстная,
У меня шаги — быстрые,
У меня ладонь — ясная,
У меня глаза — чистые.

Я люблю ходить голая,
У меня спина смуглая,
У меня длинные голени,
В волосах — волна круглая.

Я — ведьма, богиня, чертовка, русалка,
И мне ни единой души
Не жалко, не жалко, не жалко, не жалко —
Глаза мои так хороши.

И волосы выются, как флаги на мачте,
И пальцы тонки у руки.
Любите, желайте, стенайте и плачьте,
Смотрите, как ноги легки!

форма жизни. И многие так привыкают, что даже держатся за нее.

— За что же там держаться? Ведь это мука — быть таким неповоротливым и неподъемным — ни полетать, ни создать свои пространства-мысли.

— Ну, полетать там, конечно, не очень-то придется, разве что на таких специальных штукашках... как они у них называются... впрочем, это не важно. А создать свое пространство или мысль, это у них тоже есть. Правда, на это, как правило, уходит практически вся жизнь, да и пространствших, сказать по правде, зачастую совсем малюсенькое... как его там... А! — дом называется... Так вот, они еще очень гордятся его крепостью... и долговечностью.

— Крепостью? Долговеч... (смеется). У них у самих-то жизнишки... — пшик — и нету. Все рушится. Все тела, ну, которые из материи, не ус-

пеют создаться, как тут же начинают распад. Чем же тут можно гордиться? Какая долговечность? (ухахатывается, внезапно посерьезнел). Время! Надо же такое выдумать! Ведь оно же всегда только и делает, что проходит!

— Ладно, ладно... окулись сперва, освоився, а тогда и на критикуешься всласть. Вот народ.

— Не знаю, как там вообще можно жить? Да и стоит ли?

— Стоит, стоит. А потом — чего волноваться? Ты ведь будешь просыпаться сюда каждую ночь. Без этого, конечно, трудно было бы там удержаться — слишком большие перегрузки. А тут — летаешь и расправляешься как следует, разомнешь отсиженную в теле душу. Так что — не бойся, будем видаться часто. Да там, и не просыпаясь, можно иногда заглядывать сюда — у некоторых получается. Чаще всего от любви, особенно

роскошь, если жизни мне нет, и больше не будет? Не будет...

ОН. Вот сейчас я присяду поближе, заголю эту пышную пунцовую накидку с разноцветной благоухающей подкладкой и доберусь до этой нежной солоноватой плоти.

ОНА. И сколько раз все это повторялось с моими предшественницами, и сколько еще повторится... ведь знала же, знала наперед... предупреждали... и все же попала на эту удочку...

Ну хоть бы кто-нибудь вдумался, выслушал, проникся...

ОН. Сейчас, только опрокину рюмочку обжигающей перцово-водки, и тогда сразу же наброшусь на нее.

ОНА. Ах, нет, только не это! Не сейчас... ох, как же он близко... этот жадный взгляд... маслянисто поблескивающие глаза...

Как ноги легки и длинны, и проворны,
Как стройные бедра круты...
И это из сердца не выдернешь с корнем
Ни ты, и ни ты, и ни ты!

Нет! Нет!!! Как можно — такое? Неприлично, стыдно, И вообще... Ведь они же уже — !!! А я еще — ???...

Впуская в себя влагу воздуха, как рыба жабрами, лавируя между намеревающимися пристать праздничношатающимися парнишами, приближаюсь по Пушкинской к Приморскому бульвару.

— Девушка, можно с вами познакомиться? — какой-то тип с совершенно неуместным лицом.

— Нет, нельзя! — категорически отрезаю я, не сбавляя скорости полета.

— Но почему? Вам же, наверное, скучно? Вы одна...

— Мне скучно?! — зверею я от глупости непрошеного уха-жера и включаю турбореактивную скорость, после чего голос приставальщика гложет где-то позади.

И вот, пропитавшись, как ром-баба, пьяными весенними запахами и соленым морским духом, вздымаюсь к папе на верхний этаж. На лестничной площадке рамы и холсты, лицом к стенке, перемазанная красками дверь с умолкнувшим неизвестно когда звонком. Стучу, как умею, получается хило. Дубашу и так, и сяк. После долгой паузы во глубине — шевеление, дверь открывается — папа с пучком измазанных кистей вытирает руки о тряпицу. Сразу же бьет в нос такой родной (и такой желанный до сих пор) запах масляных красок.

Папа пропускает меня, говорит, чтобы я занялась чем-нибудь, дает куски ватмана, коробочку с пастельными мелками. От сочетания и брожения вокруг огромного количества цветов разного накала и концентрации внутри что-то радостно стонет. Картины — законченные и только начатые, недоплетенный гобелен, большущие мотки ниток к нему, набросанные рядом, — таких вибрирующих тонов, что в горле возникает комок от непонятого восторга. Пастельные мелки дразнят многообразием, и каждый хочется схватить первым... Папа жадно впивается кисточками в холст, лихорадочно мучает краски на палитре, иногда с остервенением выдавливает остатки из тюбика и снова набрасывается на холст.

Я, как всегда при виде папы, начисто теряю дар речи. Что бы я ни сказала — кажется мне — все будет абсолютной мурой, и папа с ядовитой иронией прищурит глаз, соорудит свою коронную гримасу и отпустит какое-нибудь едкое замечание, от которого хочется стереться с лица земли. Надо сказать, что со мной он как раз всегда обходится довольно бережно и даже ласково, когда замечает, конечно. Но я видела, как иногда он отбрасывает других... и потому молчу, как последняя идиотка. Пробую выразить свой безутешный восторг мелками по ватману.

Папа делает передышку, отваливает от холста, вытирает руки. Поглядывает в окно на море, корабли и подъемные краны. Мимходом взглянув на меня, вдруг зацепляется взглядом, потом прикрывает один глаз, пытается меня поточнее сфокусировать и скомпоновать. Я, чувствуя себя дичью в прицеле охотничьего ружья, пытаюсь рыпнуться.

— Стоп! Сиди так... подожди... — и папа, чтобы не спугнуть дичь, хватая лист бумаги, прищандоривает его на что-то, берет пастельные мелки, ищет выгодную точку. — Так, так... чуть-чуть головку правее... нет, много... так, так, да, — и начинает быстро-быстро набрасывать мой портретик.

А я стараюсь не шевелиться, по опыту зная, что любая попытка переменить участь вызовет у папы бурю протеста и озверения. Ничего не остается, как думать о влажном весеннем ветре, о море, о платанах, и совсем тайком — о колечках дыма от сигареты любимого.

Когда рисунок закончен, с трудом возвращаю тело подвижность, подхожу, смотрю на портрет. А там — тело же! — и весенний ветер, притихший в волосах, и море, и затаившийся, спрятанный где-то далеко-далеко в глазах любимый.

если умудряются стихи, знаешь, писать, картины, музыку. Представляешь, ты как бы там, а на самом деле — весь тут... ну, разве что тело...

— Да, вот, кстати, о теле. А может, не надо?

— Ну, вот еще — не надо! Трудно будет — меня помяни, я всегда рядом. Давай-ка, давай, не упрячься. Оно там уж зажалось совсем — тело твое. Так что, мой маленький, зажмурь поскорее свою бессмертную душеньку и ныряй в сон — туда, вниз, на землю.

— А может, как-нибудь?..

— Ныряй-ныряй, не бойся. Ты и оглянуться не успеешь, как снова пора будет сюда возвращаться. Еще во вкус войдешь, упрячься начнешь, цепляться. Знаю я вас... ох, народ! (подталкивает маленького).

(Удаляющийся голос.)

— Но зачем?! А?..... уа! Уа! Уа!

— О! Получилось! (Улыбаясь, глядит вниз, на улетевшего.) Ну, с Богом!

Сон

— Но зачем? Мне и здесь хорошо. Благо-гостно.

— Это такая тренировка. Чтобы душа росла, ей нужно напряжение и распрямление, зарядка и зарядка.

— Но что же там можно делать? Ведь все это — сплошная нелепица...

— Да, но там это считается логикой и... Они называют это законами природы и изучают.

— А как же можно что-то изучать, когда все вокруг — плотное и тяжелое? И к тому же сам ты — плотный и тяжелый? И каждый шаг порождает всякие последствия — плотные и тяжелые?

— Да, да, там все и плотное, и потное, но тем не менее, поверь, это тоже своего рода

ОНА. Не понимаю! Как это можно — неужели мои страдания для него ничего не значат?..

И если бы — только мои!

ОН. Нет, с нею может сравниться только... только такая же свеженькая, вкусенькая, невыносимо притягательная... просто пальчики оближешь.

ОНА. И сколько нас таких! Ведь он и ему подобные еще считают себя гуманными людьми. А что происходит со мной — это хоть кого-то волнует?

ОН. Не знаю, как другие, но этого наслаждения я не променяю ни на что.

ОНА. А мои дети... мои, теперь уже навсегда несбывшиеся дети? Лежу, вся выпотрошенная, пустая, как надводная пещера. И что мне с того, что я одета в это желто-багровое великолепие? Зачем весь этот антураж, свет,

Гурманойд

Монологи обеих персонажей
проговариваются про себя

ОН. М-м-м... Как подумаю — даже в глазах темнеет, и сладкий трепет сползает по затылку. Нежная, молоденькая, аж светится изнутри. Ну, просто слюнки текут. А вкус ее на губах, на языке... нет... не могу... ну, скорее бы...

Какая она вся наполненная, в меру пухленькая, гладенькая, крепенькая! Как подумается, прямо прыгает все внутри и разливается горячей истомой.

И что может сравниться с ней, прикрытой этим пышным и душистым покрывалом. О, этот запах...

ОН. Ах, какое это наслаждение — почувствовать ее губами, языком... о, моя любовь... этот вкус, этот ни с чем не сравнимый вкус!

ОНА. Всё, больше мне от него никуда не деться... Это гибель... полная гибель. Он наклоняется ко мне... До чего же неотвратимо приблизились его губы, его сладострастные губы...

ОН. И зубы сами впадают в эту наивно-детскую, тающую мякоть...

ОНА. Нет, нет, я никогда не соглашусь с этим! Как же я беззащитна... Я не понимаю! За что? Почему именно я? Что я ему сделала?... О-о-о-о...

ОН. И это похрустывание на зубах тонко нарезанного лука, пушистая масса яйца, свекольная сладость... еще что-то... проникающий во все это майонез... м-м-м...

Ну что, что может сравниться с селедочкой?! С нежнейшей селедочкой под шубой?!!